

18+

ГОРЖАК СТАНИСЛАВ

МЕДВЕДЬ
СЕВЕРА

Станислав Горжак

Медведь севера

«Издательские решения»

Горжак С.

Медведь севера / С. Горжак — «Издательские решения»,

Гавел фон Вальдек — сын рыцаря, вернувшегося из крестового похода с тайной, которую он унесёт с собой в могилу. Когда война разрушает его дом и отнимает имя семьи, Гавел отправляется в путь, чтобы вернуть утраченное. Сражения, предательство и церковные интриги закаляют его, но настоящее испытание скрыто глубже. В крови Гавела пробуждается сила, которой он не понимает. Сила, доставшаяся ему от отца. Сила, которая однажды заставит людей назвать его Медведем Севера.

© Горжак С.

© Издательские решения

Содержание

МЕДВЕДЬ СЕВЕРА	6
Как Конрад стал крестоносцем	8
Осада	9
Храм	11
После похода	13
Дуб и корни	14
Глава вторая. Наследство пепла	16
Отрочество	17
Тень отца	19
Гонец из Праги	20
Годковский сбор	22
Первый снег войны	24
Мост у Оленьего брода	25
Ночной гость	28
Дом без хозяина	29
Правда старосты	32
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Медведь севера

Станислав Горжак

© Станислав Горжак, 2026

ISBN 978-5-0071-2497-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

МЕДВЕДЬ СЕВЕРА

Глава первая. Ночь, когда рассказывают о войне

Снег падал уже третьи сутки подряд — не той лёгкой, кружевной порошей, что красит землю к празднику, а тяжёлым, плотным валом, какой в предгорьях Йизерских гор сыплется с низкого неба неделями напролёт, погребая под собой дороги, изгороди и самую память о том, что где-то там, под сугробами, ещё осенью зеленели поля.

Замок Вальдек — приземистый, сложенный из грубо отёсанного песчаника, потемневшего от дождей и времени, — казался единственным тёплым пятном во всей округе: маленькая крепость, вросшая в скалистый уступ над рекой, с одной-единственной квадратной башней-донжоном и невысокой стеной, из-за которой едва выглядывали крыши хозяйственных построек. Такие замки — небольшие, спешно возведённые на пожалованных за службу землях, — во множестве вырастали в те годы по северным рубежам Богемского королевства, там, где ещё недавно стояли только сторожевые заставы да редкие деревни лесных бортников, и Вальдек ничем не выделялся среди дюжины таких же братьев по всей границе, кроме разве что упрямства, с каким его хозяин отказывался считать бедность поводом для стыда.

За стенами Вальдека жизнь продолжалась даже в такую погоду, будто самой метели не было дела до того, что творилось у людей на душе. В конюшне фыркали лошади, время от времени ударяя копытами по деревянным перегородкам; на кухне служанки следили за котлом с жидкой кашей, в которую добавляли то немного сала, то сушёную репу; в кладовой пахло копчёным мясом, луком, плесенью и зерном, а в подвале, за дубовой дверью, хранились бочки с пивом и вином, мешки овса, сушёные яблоки и несколько окороков, которым предстояло пережить зиму, — небогатое, но честно нажитое довольство, не идущее ни в какое сравнение с тем, что рассказывали о замках южных господ. Вальдек жил с земли, и земля эта не прощала расточительности: если урожай выдавался плохим, господский стол становился почти таким же скудным, как столы крестьян; если заболела лошадь, это было бедствием на весь год вперёд; если ломалась телега, её чинили сами, потому что чинить её было больше некому. Железо здесь берегли, кожу латали, одежду перелицовывали, а старые мечи передавали от отца к сыну, как передают не оружие, а обещание.

За узкими, забранными бычьим пузырём бойницами выл ветер, трепал факелы во дворе, гнал позёмку по обледенелым камням надвратной башни, и в этом вое, если верить старым сказкам, было нечто большее, чем просто голос непогоды. Внизу, у подножия скалы, темнел лес — густой, еловый, тот самый лес, что богемские крестьяне издавна называли землёй, где заканчивается закон человека и начинается закон зверя. В такие ночи, как эта, Богемия казалась землёй призраков — так, во всяком случае, говорила старая нянька Гавела, укутывая его в медвежьи шкуры перед сном и подтыкая одеяло с той обстоятельностью, с какой укрощают не ребёнка, а саму бурю за окном.

Няньку звали Драгомира — сухонькая, сгорбленная годами женщина с лицом, изрезанным морщинами, как древесная кора трещинами, и с руками, огрубевшими от полувека стирки, готовки и пряжи. Она пришла в дом Вальдеков ещё при жизни покойной госпожи Йитки, вынянчила единственного оставшегося от неё ребёнка и с тех пор считала себя обязанной охранять мальчика от всех бед — видимых мечом и невидимых молитвой, будто одно без другого не могло уберечь его по-настоящему.

— Спи, соколик, — бормотала она, поправляя тяжёлое, пахнущее дымом и зверем одеяло. — Метель нынче злая. Все духи лесные из нор повылезли, кружат вокруг стен, воют. А ты не бойся: покуда крест на воротах да святая вода в чаше, ни один леший к тебе в горницу не заглянет.

Гавелу было шесть лет, и он не боялся ни леших, ни духов, о которых так охотно рассказывала нянька, — он боялся только одного: что отец не придёт пожелать ему спокойной ночи, как не пришёл однажды прошлой зимой, когда трое суток провалился в горячке после падения с коня. Но отец пришёл. Он приходил почти всегда, невзирая на метель, усталость и разбавленное водой вино, выпитое за скудным господским ужином, — приходил так упрямо, будто это была последняя привычка прежней, довоенной его жизни, которую он ещё не научился исполнять.

Конрад фон Вальдек — невысокий, но широкий в плечах человек лет тридцати пяти, с коротко стриженной, тронутой сединой бородой и тяжёлым, будто вырубленным из камня лицом — толкнул низкую дубовую дверь плечом и остановился на пороге, стряхивая с плаща снег. Пламя очага бросило на его лицо резкие, рваные тени, старившие его больше, чем полагалось бы человеку его возраста: под глазами залегли тёмные полукружья, а на лбу, между бровей, застыла складка, которая, казалось, не разглаживалась даже во сне. Одет он был просто, по-домашнему — длинная суконная котта тёмно-синего цвета, стянутая на поясе широким кожаным ремнём, к которому неизменно был приторочен нож в потёртых ножнах, тот самый кинжал, что Конрад не снимал даже в собственном доме; на ногах — мягкие сапоги из грубо выделанной кожи, поверх котты — тяжёлый плащ, подбитый волчьим мехом. Никакой роскоши в убранстве господина не было: земли Вальдеков были скудны, а серебро, дарованное некогда королём за крестовый поход, давно ушло на постройку самого замка, покупку лошадей, оружия и выкуп нескольких пленных крестьян у соседнего лорда.

— Ты ещё не спишь, — сказал Конрад, и в голосе его не было упрёка — только усталая нежность, какую способен сберечь в себе даже самый измотанный днём человек, если дело касается сына.

— Я ждал тебя, — отозвался Гавел, приподнимаясь на локте среди мехов.

Драгомира, поклонившись господину, тихо вышла, притворив за собой дверь, а Конрад подошёл к окну, проверил ставню и лишь затем сел на край постели — пальцы его, изуродованные старыми шрамами от меча и верёвки, машинально легли на рукоять кинжала, будто искали в нём привычную опору. Над очагом висел щит — небольшой, потемневший от копоти и времени: синее поле, серебряный крест, а под ним подкова, — и Гавел, хоть и знал историю наизусть, попросил рассказать про герб снова, потому что некоторые истории стоит слушать не ради новизны, а ради самого голоса рассказчика.

Конрад посмотрел на щит долгим, отсутствующим взглядом, каким смотрят не на вещь, а сквозь неё, в прошлое.

— Крест — за поход к Гробу Господню, — сказал он наконец и умолк на мгновение, прежде чем добавить: — Такой крест носили на плащах те, кто отправлялся за море сражаться за Святую землю. Подкова — за то, что я прошёл этот путь верхом.

— А почему ты пошёл?

Вопрос застал его врасплох. Раньше Гавел никогда не спрашивал об этом — обычно ему хватало самой истории о далёких городах, рыцарях и сражениях, — но теперь мальчик смотрел прямо на отца, и что-то в этом прямом, немигающем взгляде подсказало Конраду, что однажды всё равно придётся рассказать всё, а значит, лучше сделать это сейчас, покуда сын ещё достаточно мал, чтобы принять правду как сказку, а не как приговор.

— Потому что у меня тогда не было ничего, — сказал он наконец.

Как Конрад стал крестоносцем

В юности Конрад не был богатым человеком. Его отец служил мелким рыцарем при дворе и владел клочком земли, которого едва хватало, чтобы прокормить семью, а замок, в котором вырос Конрад, скорее напоминал укрепленный двор, чем настоящую крепость: весной талая вода затапливала его насквозь, зимой ветер гулял по щелям стен так же вольно, как гулял он теперь по бойницам Вальдека. С детства Конрад знал, что старшему сыну достанется земля, ему — только меч и дорога, а потому рано научился ездить верхом, стрелять из лука и обращаться с оружием, хотя настоящим рыцарем можно было стать лишь имея покровителя, деньги и возможность содержать коня, оружие и людей, — и ничего этого у Конрада не было.

В восемнадцать лет он впервые ушёл из дома. Несколько лет служил наёмным оруженосцем, потом — вооружённым человеком при одном из богемских господ: сопровождал обозы, охранял дороги, участвовал в мелких усобицах, выбивал долги и однажды почти год провёл в гарнизоне на беспокойной границе, где видел, как люди убивают друг друга из-за лесной поляны, мельницы или нескольких возов зерна, и постепенно привык к мысли, что его собственная жизнь стоит немногим больше.

Крестовые походы той эпохи привлекали не только истовых паломников, но и множество младших сыновей и безземельных воинов, для которых обещанное отпущение грехов значило меньше, чем шанс вернуться домой человеком иного положения — либо не вернуться вовсе, что порой само по себе казалось не худшим исходом.

Всё изменилось после смерти отца: семья задолжала соседнему феодалу, землю пришлось отдать, и Конрад остался практически без наследства — как раз тогда в Богемию пришли проповедники, говорившие о Святой земле, о Гробе Господнем, о городах, отвоёванных у неверных, о рыцарях, которым обещано отпущение грехов, и о богатствах Востока. На площади небольшого города Конрад впервые услышал проповедь человека в серой монашеской одежде, говорившего несколько часов кряду — о долге, о грехе, о том, что человек может прожить всю жизнь, сражаясь за мелкие клочки земли, а может один раз поднять крест и отправиться туда, где решается судьба христианского мира. Конрад слушал молча; он не был особенно набожен, но слова монаха попали туда, где у него болело сильнее всего, — а терять ему было нечего.

В ту же ночь Конрад продал единственного хорошего коня, купил более дешёвого, а остаток денег отдал за оружие и дорожное снаряжение. Через несколько недель он пришёл к плащу красный крест. Так он стал крестоносцем — не потому, что был святее других, не потому, что мечтал о славе, и даже не только ради земли и денег, а потому, что хотел получить право вернуться человеком, которого нельзя было бы больше назвать никем.

Путь на Восток оказался совсем не таким, каким его описывали проповедники. Отряды двигались медленно, дороги были разбиты, лошади хромали, люди болели; в дождливые дни кожа доспехов набухала от влаги, а шерстяные плащи становились тяжёлыми, как мокрые шкуры. Ночью рыцари спали прямо на земле, если позволяла погода, — более богатые ставили палатки, простые воины укрывались под повозками или заворачивались в собственные плащи, — ели хлеб, сыр, солонину, сушёную рыбу да кашу, а если находили деревню — покупали кур, коз и зерно; если же деревня оказывалась заброшенной, приходилось довольствоваться тем немногим, что оставалось в обозе. Самой большой ценностью на этом пути была вода: бурдюк с ней охраняли почти так же тщательно, как мешок серебра. На Востоке Конрад впервые понял, что война способна убивать человека, даже если рядом нет врага, — солнце, жажда, болезни и пыль убивали медленно, тогда как стрела убивала быстро, и разница эта, казалось, была единственной милостью, какую могла предложить эта земля.

Осада

— Расскажи про сражения, — попросил Гавел.

Конрад прикрыл глаза.

— Про сражения?

— Да. Про то, как вы брали города.

Он долго смотрел в огонь, прежде чем ответить.

— Хорошо, — сказал он и начал.

Акра встретила их жарой. Город стоял у моря, окружённый мощными стенами, башни поднимались над крышами, а между камнями укреплений виднелись знамёна защитников, — для Конрада это был первый настоящий большой город, и он запомнил его прежде всего по запаху: запах моря смешивался здесь с запахом дыма, конского навоза, человеческого пота, крови и гниющих припасов в одну, ни на что не похожую вонь долгой осады. Крестоносцы разбили лагерь вокруг города, и дни превратились в недели, недели — в месяцы, а каждое утро начиналось одинаково: кто-то точил меч, кто-то проверял подпругу, кто-то латал кольчугу, и кузнецы работали почти без остановки, потому что стрела, попавшая в щит, могла расколоться, но железный наконечник вытаскивали и использовали снова, — кожу берегли, верёвки берегли, даже хорошие гвозди иногда вытаскивали из старых конструкций, чтобы вбить их заново в новое дело. В лагере постоянно что-то строили — навесы, частоколы, осадные машины, лестницы, щиты для прикрытия сапёров, — плотники стучали молотками, пока не темнело, лучники тренировались, пехота училась держать строй, а рыцари упражнялись верхом, покуда кони ещё держались на ногах от голода не хуже своих седоков.

По ночам лагерь превращался в другой мир: горели костры, у костров рассказывали истории, кто-то молился, кто-то играл в кости, кто-то пил, а кто-то тихо плакал, вспоминая дом, — и никто не считал зазорным ни то, ни другое, ни третье, потому что завтра любой из этих людей мог не проснуться вовсе. Конрад особенно хорошо запомнил одну такую ночь, когда сидел у огня вместе с тремя людьми из своего отряда — старым франком, молодым немцем, почти мальчишкой, и третьим, что происходил откуда-то из северных земель и плохо говорил на общем языке, — и все трое спорили о том, что будут делать после войны: старый франк хотел купить виноградник, молодой немец собирался жениться, а третий, помолчав, сказал только одно:

— Я хочу снова увидеть снег.

Через несколько недель все трое погибли, и Конрад так и не узнал, почему именно эта простая фраза о снеге осталась в его памяти крепче прочих, — быть может, потому, что из троих желаний она одна не требовала ничего, кроме того, чтобы человек остался жив.

Штурмы начинались внезапно: звучали трубы, били барабаны, люди поднимались с земли и хватали оружие, рыцари надевали шлемы, поверх кольчуги — щиты и плащи, и на солнце металл становился таким раскалённым, что под шлемом было трудно дышать ещё до первого удара. Когда войско двигалось к стенам, воздух наполнялся свистом стрел, щиты стучали, камни ударяли по дереву, кто-то падал, а другие переступали через него, не останавливаясь, — и Конрад быстро понял одну вещь: в настоящем бою человек редко видит героическую картину целиком. Он видит сапоги перед собой, кусок стены, кровь на руке, чужой клинок, собственное дыхание — и страх, прежде всего страх, потому что боялись даже самые храбрые, а разница между ними заключалась лишь в том, кто способен, невзирая на этот страх, продолжать движение вперёд.

Осада Акры истощила всех. В лагере не хватало пищи, болезни косили людей едва ли не быстрее вражеских стрел, вонь от нечистот стояла такая, что временами невозможно было есть, а мёртвых хоронили так неглубоко, что после дождя земля нередко оседала, обнажая

руки и ноги. Но город в конце концов пал — и именно тогда, как Конрад понял уже потом, оглядываясь назад, настоящая война для него только начиналась.

Храм

После падения города крестоносцы хлынули на улицы, и то, что произошло дальше, Конрад впоследствии не решался называть победой ни разу, даже наедине с собой. Грабители ломали двери, срывали украшения, выносили ткани, посуду, оружие; дома горели, крики разносились между стенами так, что не всегда можно было различить, чей это голос — победителя или побеждённого. Конрад пытался остановить своих: хватал людей за плечи, кричал на них, — но один раз в ответ получил удар в лицо, а другой воин и вовсе приставил к его горлу нож со словами:

— Не мешай победителям, рыцарь.

Конрад отступил — не из страха, а из ясного понимания, что ничего уже не изменит, — и ушёл, шагая по переулкам, покуда шум за спиной не стал тише. Так он и увидел храм.

Тот был небольшим и совершенно непохожим на христианские церкви, к каким привык глаз Конрада: каменные колонны украшали резные изображения, смысла которых он не понимал, а в воздухе стоял тяжёлый запах благовоний — смолы, шафрана, горьких трав, — совсем не похожий на запах ладана. Двери были закрыты. Конрад подошёл к ним с засохшей на доспехах кровью и мечом в руке, толкнул тяжёлую створку — она не поддавалась, — а затем сама, без всякого его усилия, вдруг распахнулась, и он застыл на пороге, вглядываясь в царившую внутри темноту, прежде чем всё же переступить черту. Двери закрылись за его спиной сами собой, и один за другим, будто по чьей-то невидимой воле, вспыхнули маленькие масляные светильники — сначала один, потом второй, потом третий, — покуда через несколько мгновений весь храм не наполнился дрожащим золотистым светом.

И тогда он увидел её.

Девушка стояла у дальней колонны — слишком молодая на вид для той древней тишины, что её окружала, и вместе с тем как будто старше самого храма. У неё были очень светлые волосы, почти белые, ниспадавшие до пояса и казавшиеся при свете ламп не золотыми, а серебряными; несколько прядей лежали на плечах, остальные свободно спускались по спине. Лицо её было бледным — не болезненно-бледным, а таким, каким бывает лицо человека, слишком долго находившегося вдали от солнца, — с высокими скулами, тонкими бровями и большими глазами того неопределимого цвета, который Конрад в первый момент не смог назвать: то ли серого, то ли зелёного, то ли просто отражавшего пламя светильников. Лёгкая светлая ткань закрывала часть её тела, оставляя открытыми плечи и руки, на запястьях висели тонкие металлические браслеты, а на шее — небольшое украшение из тёмного камня. Она не выглядела ни испуганной, ни удивлённой — она словно ждала именно его, и от этого ожидания Конраду сделалось холоднее, чем от любого вражеского клинка.

— Кто ты? — спросил он, поднимая меч.

Девушка не ответила — просто посмотрела ему в глаза, и впервые за много месяцев Конрад почувствовал не страх смерти, а страх перед неизвестным, который, как оказалось, много тяжелее первого. Она медленно подошла — так тихо, что он не услышал её шагов, — и протянула руку; Конрад хотел отступить, но не смог. Её пальцы коснулись его запястья, и ладонь оказалась прохладной, слишком прохладной для живого человека, а меч выпал из его руки и ударился о камень с гулким, разнёсшимся под сводами звоном.

Девушка повела его в глубину храма. Он попытался сопротивляться, но тело перестало слушаться; светильники начали расплываться, стены будто удалялись, воздух стал густым, и Конрад услышал музыку — едва различимую, похожую на звук струны, которую трогает ветер, — а потом вспыхнул белый свет. Дальше была лишь боль, холод, чужие голоса, тени в капюшонах — и девушка, снова и снова появлявшаяся перед ним то совсем близко, то в конце длинного зала, а порой ему казалось, что и само лицо её меняется у него на глазах. Он не

понимал, где сон, а где явь, не понимал, сколько времени прошло — двадцать минут, день, неделя, вечность, — а потом всё разом исчезло.

После похода

Конрад очнулся под открытым небом. Песок был холодным, над головой сияли звёзды, он лежал в доспехах, а рядом, будто кто-то заботливо положил его туда возле самой руки, лежал меч. Он долго не мог понять, где находится, покуда не увидел вдали знакомые кресты лагеря, — поднялся, сделал несколько шагов, упал, снова поднялся и так, шаг за шагом, добрался до своих. Ему сказали, что его считали пропавшим уже двадцать дней. Двадцать дней Конрада не было — кто-то решил, что он погиб, кто-то решил, что ушёл к женщинам, но никто не поверил бы в храм, вздумай он рассказать правду. Поэтому Конрад молчал.

Он продолжил поход — сражался, ел вместе с другими, спал у костров, чинил оружие, получал новые раны, — но теперь в нём что-то изменилось безвозвратно. Он перестал верить в простые слова вроде «добро», «зло», «победа» или «Божья воля»: все они оказались слишком маленькими для того, что он увидел за закрытыми дверями чужого храма. Когда поход закончился, Конрад вернулся домой уже другим человеком и никому не рассказывал о храме — ни товарищам, ни священнику, ни будущей жене. Он иногда просыпался ночью и чувствовал на запястье холод чужой ладони; иногда ему казалось, что он слышит ту самую музыку; а однажды зимой проснулся от запаха шафрана, хотя в доме не было ни одной пряности, вышел во двор и не нашёл там никого — только снег. После этого Конрад начал молиться чаще, но молился не столько Богу, сколько против того, чего боялся сам, не смея назвать эту вещь вслух даже в молитве.

Дуб и корни

Возвращение оказалось почти таким же тяжёлым, как поход. Конрад думал, что после войны станет свободным, а вместо этого обнаружил, что прежней жизни больше не существует: люди ждали от него рассказов о славе, хотели слышать о сражениях, о богатствах Востока, о великих победах, — а он вспоминал запах горящих домов, крики, песок и девушку в храме. Корона, впрочем, оценила его службу иначе, чем оценивали соседи: рыцарское звание было подтверждено особой грамотой, к нему прибавились земли на суровом северном рубеже Богемии и горсть серебра — достаточно, чтобы поднять хозяйство, но не настолько много, чтобы соперничать с богатыми родами.

Конрад поселился среди камня и сосен. Первые годы он почти не жил в замке — он его строил: сам выбирал место для стен, сам проверял камень, сам определял, где будет колодец, и покуда рабочие летом таскали камни, осенью рубили лес, а зимой возводили стены изнутри, сам спал там же, где спали они, ел ту же кашу и пил то же пиво, зная цену каждой доске, каждому железному гвоздю, каждой лошади так, как знает её только тот, кто расплачивался за неё собственным трудом, а не чужим серебром. Первоначально Вальдек был не замком, а крепким домом с башней — и Конрад постепенно учился жить заново, хотя война не отпускала его вовсе: по ночам ему снились то стены Акры, то храм, то белые волосы, ускользающие в темноту сна прежде, чем он успевал их разглядеть.

Через несколько лет соседний уездный лорд предложил Конраду выгодный брак. Его дочь звали Йитка — невысокая, темноволосая, с быстрыми, тёплыми глазами, — но первое, что заметил в ней Конрад, были её руки: на пальцах виднелись маленькие следы от работы, потому что она не была девушкой, воспитанной только для танцев и праздников, а умела прясть, шить, готовить, знала, как сохранить мясо на зиму, как сушить травы и как определить по запаху, что молоко начало портиться. Она смеялась легко и пела, работая за прялкой, и для Конрада, привыкшего к звону оружия, крикам и молитвам перед боем, её голос стал чем-то почти невозможным — женщина, способная петь просто потому, что день выдался солнечным. Он женился на ней — сперва ради союза, а после и вправду потому, что полюбил.

Три года они прожили без детей, и Конрад втайне был этому почти рад: какая-то часть его боялась, что в храме с ним произошло нечто такое, чему не следовало передаваться по крови, — но он никому не говорил об этом страхе, даже Йитке. На третий год она понесла, и радость на время оказалась сильнее страха. Беременность далась ей тяжело: Йитка худела там, где полагалось полнеть, бледнела, задыхалась, а её звонкий голос стал тихим, — знахарки поили её горькими отварами, приходский священник читал молитвы, Конрад делал всё, что было в его силах, и впервые после Святой земли снова молился по-настоящему, не о победе и не о богатстве, а только о том, чтобы жена осталась жива. Но Бог не услышал его так, как он надеялся.

Роды начались в конце зимы. За стенами бушевала метель, в замке горели почти все очаги, слуги бегали по коридорам, а в комнате Йитки пахло горячей водой, травами и воском, покуда наконец не раздался крик ребёнка — крепкого мальчика с на удивление здоровым для новорождённого голосом. Конрад впервые за много лет заплакал, но радость продлилась недолго: Йитка была слишком слаба и успела взять сына на руки лишь однажды, долго вглядываясь в его лицо, будто пыталась запомнить его для дороги, на которую собиралась отправиться без него.

— Обещай мне, — прошептала она, и Конрад наклонился к самым её губам. — Что бы ни случилось — сбереги его. Вырасти его. Не дай темноте, которую ты носишь в себе, тронуть его.

Конрад вздрогнул так, что на миг забыл дышать: ему показалось, что она знает — знает о храме, о девушке, о двадцати днях, обо всём, что он так тщательно прятал даже от самого себя.

— Откуда ты... — начал он, но Йитка лишь улыбнулась, совсем слабо.

— Я твоя жена, Конрад.

Она закрыла глаза и больше их не открыла.

Так Гавел фон Вальдек вошёл в мир — под крик метели за стенами и молчание умирающей матери. Конрад держал новорождённого сына всю ночь и не подпускал к колыбели ни нянек, ни священника, будто боялся, что стоит ему разжать руки — и мальчика заберёт то же самое неведомое, что когда-то забрало у него самого двадцать дней жизни. За окном выла метель, снег ложился на землю Богемии, а далеко, за морем, в городе, который Конрад изо всех сил старался забыть, оставалась память о храме, о девушке с белыми волосами, о холодной ладони — и о том, что иногда война заканчивается не тогда, когда человек возвращается домой. Иногда она только тогда и начинается.

Гавел ещё не знал этого. Но когда-нибудь ему предстояло узнать. И тогда люди впервые назовут его Медведем Севера.

Глава вторая. Наследство пепла

Годы текли над замком Вальдек так же неспешно, как река несла свои воды мимо его стен, — с виду мирно, а под поверхностью неудержимо. Зима сменялась короткой, дождливой весной, весна — душным, полным оводов летом, когда крестьяне выходили жать ячмень на узкие, отвоёванные у леса поля, а осень снова укладывала округу под первый ледяной наст. Мальчик, некогда слишком слабый, чтобы дожить до первой весны без нянькиных отваров, вытянулся и раздался в плечах так, что к четырнадцати годам глядел на сверстников сверху вниз, а к семнадцати сверху вниз глядели на него уже немногие взрослые мужи гарнизона.

Он рос темноволосым, как мать, но с отцовской тяжёлой челюстью и той же складкой между бровей, что появлялась у Конрада всякий раз, когда тот задумывался о вещах, не предназначенных для чужих ушей. Голос его к семнадцати годам огрубел и окреп, а движения приобрели ту особую, звериную плавность, какую замковый люд поначалу принимал за обычную для юного воина ловкость.

Йизерские горы над замком в те годы ещё держали снег до самого мая — белые пятна лежали в тенистых распадках, где не доставало солнце, покуда внизу, у реки, уже зеленела молодая трава и распускался дикий терновник. Лес, обступавший Вальдек с трёх сторон, менял голос вместе с временем года: весной — гомон птиц и капель, летом — сухой треск кузнециков и жужжание пчёл над цветущей липой у ворот, осенью — шорох палой листвы под ногами оленя, зимой — тяжёлое, почти утробное молчание, которое нарушал только скрип промёрзших стволов да далёкий вой, от которого у самых храбрых псов замковой своры вставала шерсть на загривке.

Отрочество

Двор замка, где проходили тренировки, представлял собой утоптанную до каменной твёрдости земляную площадку между донжоном и конюшней, огороженную низким плетнём. Здесь по утрам, пока роса ещё не сошла с жухлой осенней травы, а зимой — пока мороз не успевал схватить землю намертво, Гавел упражнялся с деревянными мечами, а после — с настоящей сталью, под неусыпным присмотром старого оружейника Йошта.

Йошт был человеком невысоким, кряжистым, с руками, покрытыми давними ожогами от кузнечного горна, и с одним прищуренным от старой раны глазом, который, впрочем, ничуть не мешал ему видеть каждую ошибку ученика раньше, чем тот успевал её осознать. Одевался он неизменно в одну и ту же кожаную безрукавку поверх грубой холщовой рубахи, будто других одежд у него отродясь не водилось, а на поясе носил не меч, а молоток — тот самый, которым правил клинки на наковальне.

День Гавела в те годы начинался задолго до рассвета — с холодной воды из бочки во дворе, которой он окатывался, невзирая на время года, потому что так когда-то заповедовал ему отец: тело, приученное к холоду, меньше боится боли. После — короткая молитва в домашней часовне, бедной, тесной, где на стене всё так же висел щит с крестом и подковой, а перед ним — миска жидкой каши с сушёными яблоками, если год был урожайным, или просто хлеб с луком, если год скупился. Затем — двор, деревянный меч, пот, снова пот, до тех пор, пока рубаха не прилипала к спине даже в стужу.

Ближе к полудню наставник менял оружие на охотничий лук или рогатину, и они с Йоштом, а порой и с самим Конрадом, пока тот ещё находил в себе силы садиться на коня, уходили в лес — не для забавы, а по нужде: замковый стол требовал дичи, а лес в предгорьях был щедр к тем, кто умел его слушать. Гавел выучился читать следы раньше, чем читать буквы: помятая трава, свежий скол коры, запах, который человеческий нос улавливал едва-едва, а его — с необъяснимой, почти оскорбительной для охотничьего самолюбия остальных лёгкостью.

Первого своего кабана он взял в четырнадцать лет — зверя матёрого, с клыками, пожелтевшими от старости, который вышел на него из орешника внезапно, с храпом и стуком копыт, и которого мальчишка встретил рогатиной так спокойно, будто делал это не впервые. Йошт после долго молчал, разглядывая тушу, а после сказал одну-единственную фразу, которую Гавел запомнил на годы вперёд:

— Иной муж и в сорок лет так не встречает зверя, как ты в четырнадцать.

Грамоте его учил отец Освальд — не столько из усердия, сколько из долга перед памятью покойной госпожи Йитки, которая, по рассказам Драгомиры, сама когда-то тянулась к книгам сильнее, чем к прялке. Гавел выучился разбирать латинские буквы достаточно, чтобы читать молитвенник и немногие грамоты, хранившиеся в укладке отца, — дарственные, реестры оброка, письмо короля с благодарностью за крестовый поход, пожелтевшее и хрупкое, как крыло мёртвой бабочки.

Он рос среди простых людей замка так же, как среди господ, — иной иерархии в его детстве попросту не было. Сын кузнеца, мальчишка по имени Вацлав, был ему если не другом, то товарищем по играм и первым соперником в борьбе на пыльном дворе; дочь скотницы,

тихая рыжая девчонка, приносила ему по утрам молоко и однажды, застав его с разбитой губой после падения с необъезженного жеребца, без единого слова обмотала рану чистой тряпицей — так, будто делала это не в первый раз. Замок Вальдек был мал, беден и одинок среди лесов, но именно эта бедность и удалённость сплетала его обитателей в нечто более крепкое, чем родство по крови.

Меч в руке Гавела с самого начала вёл себя не так, как полагалось бы мечу в руке подростка. Однажды после особенно резкого выпада, отбившего у Йошта деревянный учебный клинок, старик отступил на два шага, потирая занывшее запястье, и невольно перекрестился.

— Твой отец в твои годы бился хорошо, — пробормотал он, разглядывая ученика так, будто увидел его впервые. — Но не так.

— А как? — спросил Гавел, опуская меч.

— Расчётливо. Крепко. — Йошт помолчал, подбирая слова. — А в тебе, сдаётся мне, сила бьёт не из плеча и не из выучки, что я тебе дал, а откуда-то ещё. Из нутра.

Гавел не придал этому значения — списал слова старика на обычную стариковскую придирчивость. Он не знал ещё, что сила, дремавшая в его крови, была не только отцовской выучкой.

К шестнадцати годам он превзошёл в поединках всех дружинников гарнизона, включая самого Йошта, — превзошёл не силой одной, а тем особым чутьём на чужое движение, которое опытные бойцы называли даром, а суеверные — знаком. Он засыпал позже других и просыпался бодрее; рана, рассекшая ему предплечье во время учебного боя на затупленных клинках, затянулась за неделю там, где иному потребовался бы месяц. Служанки на кухне шептались об этом за спиной, крестясь, но вслух никто ничего не говорил — молодой господин был добр к дворне, а доброго господина не принято обсуждать за чашей пива слишком громко.

Тень отца

Сам Конрад тем временем таял на глазах, будто вычерпывался изнутри тем же ковшом, каким когда-то вычерпывал вино из бочек. Смерть Йитки не отпускала его ни на день. Он давно оставил тренировочный двор, давно не садился на коня иначе как по хозяйственной надобности, зато исправно, в любую погоду — в дождь, в снег, в изнуряющую летнюю жару — шагал в местный костёл: маленький, деревянный, срубленный на его же землях ещё в первые годы после основания замка, с единственным колоколом, отлитым на скудные пожертвования окрестных крестьян. Там он часами стоял на коленях перед грубо вытесанным распятием, шевеля губами в беззвучной исповеди, которую, казалось, был не в силах закончить ни разу.

Отец Освальд, приходский священник, — человек лет пятидесяти, сутулый, с тонзурой, давно уже неровно выбритой дрожащей от старости рукой, — поначалу принимал эти визиты как проявление благочестия достойного рыцаря. Он выслушивал Конрада терпеливо, кивал, бормотал слова отпущения. Но со временем, слушая всё более путанные, всё более лихорадочные признания — о храме за морем, о девушке, о вспышках белого света, — он начал слушать иначе: не как исповедник, но как человек, различающий за словами кающегося не грех, а одержимость.

— Сын мой, — сказал он однажды, не выдержав, положив сухую старческую ладонь на плечо коленопреклонённого рыцаря, — то, что вы описываете, — не грех, требующий отпущения. Это рана, требующая иного лечения, чем может дать исповедальня. Быть может, вам стоит обратиться к учёным братьям в Праге, к тем, кто сведущ в подобных материях...

— Никто не сведущ в подобных материях, отче, — глухо ответил Конрад, не поднимая головы. — Никто, кроме меня самого. И я не знаю, как с этим жить.

Гавел этих визитов почти не замечал. У него была своя война — сперва учебная, во дворе, потом настоящая. Он видел лишь то, что видел любой сын: отец постарел раньше срока, отец молчит дольше, чем прежде, отец иногда среди ночи выходит во двор без плаща и стоит там, глядя на звёзды, будто ищет в них ответ на вопрос, которого сам себе не осмеливается задать при свете дня. Гавел не спрашивал больше об истории с крестом на щите — что-то в лице отца всякий раз, когда речь заходила о Святой земле, отбивало у него охоту допытываться.

Гонец из Праги

В королевстве Богемском в те годы, как и во всей средневековой Европе, воинская служба знати оставалась одновременно правом и обязанностью: рыцарь, получивший от короны землю, обязан был по первому зову явиться под королевское знамя с оружием, конём и, по мере достатка, со своим малым отрядом. Отказ от такой службы означал не только бесчестье, но и прямую угрозу лишиться самого пожалования, ради которого некогда лилась кровь на чужой земле.

Весть о войне пришла в замок Вальдек с гонцом правителя ранней осенью, когда лес вокруг замка уже тронула первая ржавчина увядания, а по утрам над рекой стоял густой холодный туман. Гонца звали Ота — молодой, но уже прокопчённый долгими дорогами королевский герольд с потрёпанным на швах плащом цвета выцветшей лазури и рожком на перевязи, в который он трубил у каждого новых ворот, прежде чем огласить грамоту. Он появился на дороге к Вальдеку в сопровождении всего двух вооружённых спутников — время было неспокойное, и большего эскорта корона не могла выделить для объезда северных рубежей, — и трижды продул рожок у надвратной башни, пока стражник наконец не узнал в нём королевского посланца по гербу на плаще.

Соседнее королевство нарушило старый мирный уговор, и корона созывала под свои знамёна всех, кто мог держать оружие, — в первую очередь потомков знатных родов, обязанных долгом крови. Ота огласил грамоту прямо во дворе замка, стоя на перевёрнутой бадье, чтобы голос его было слышно и в конюшне, и на кухне, и в оружейной, — сухим, привычным к таким оглашениям голосом перечислил названия земель, откуда собиралось войско, срок явки и место сбора: город Годков, что лежал в трёх днях пути к югу, у слияния двух рек, там, где начинался старый торговый тракт на Прагу. Гавелу едва исполнилось восемнадцать.

Конрад узнал новость молча. Он не отговаривал сына и не благословлял его вслух — лишь вечером накануне отъезда пришёл к нему в оружейную, тесную каменную пристройку, увешанную клинками, кольчугами и наручами, где Гавел в последний раз проверял снаряжение, укладывая в дорожный мешок точило, запасные ремни и промасленную тряпицу для чистки стали. Конрад долго стоял в дверях, глядя на юношу с тем же выражением, с каким когда-то смотрел на спящего шестилетнего мальчика.

— Держи клинок ниже, чем учил тебя Йошт, — сказал он наконец. — Враг метит в горло. Пусть метит в пустоту.

— Отец, ты пойдёшь на завтрашнюю службу в костёл, пока меня не будет?

— Пойду, — Конрад отвёл взгляд, глядя в узкое окно оружейной, за которым уже сгустились осенние сумерки. — Кто-то должен молиться за нас обоих.

Он не сказал сыну, о чём на самом деле молится. Гавел этого так и не узнал — до поры.

Наутро, когда небольшой отряд из замка Вальдек — сам Гавел верхом на гнедом жеребце, двое старых отцовских дружинников да оруженосец из соседней деревни — выехал за ворота, Конрад долго стоял на крепостной стене, глядя вслед удаляющимся всадникам, покуда те не скрылись за поворотом лесной дороги. Драгомира, стоявшая рядом с господином, украдкой

перекрестила уходящий отряд трижды — раз за спасение тела, раз за спасение души и раз, как она сама говорила после, шёпотом, «на всякий случай, мало ли какая нечисть на дорогах развелась».

Годковский сбор

Дорога до Годкова заняла и вправду три дня — три дня по раскисшим от первых осенних дождей трактам, среди перелесков и убранных полей, где то тут, то там дымили овины, а крестьяне свозили последний урожай под навесы прежде, чем земля превратится в непролазную кашу. К вечеру третьего дня отряд Вальдека увидел зарево множества костров задолго до того, как показались стены самого города: войско стягивалось к сборному пункту уже не первую неделю, и поле за городскими стенами превратилось в целый временный посёлок из шатров, телег, коновязей и наскоро сколоченных навесов для оружейников.

Здесь пахло на десять ладов разом — дымом костров, конским потом, кожей, дёгтем, которым смазывали упряжь, свежим хлебом из походных печей и — уже тогда, в первые дни сбора — той особой смесью нечистот и гнили, что неизбежно копится там, где скучиваются тысячи людей и лошадей. Гавел, привыкший к тишине и немногословности родного замка, впервые увидел, как выглядит настоящее войско, ещё не тронутое боем: ряды шатров знатных родов, украшенных гербами, отличить от которых беднейших ополченцев не составляло труда по одному лишь размеру и цвету полотна; кузницы под открытым небом, где день и ночь стучали молоты, выправляя доспехи для тех, кто прибыл издалека и растряс железо в дороге; загоны для лошадей, где ржание не смолкало ни на час.

Отряд Вальдека определили под руку рыцаря Зигфрида фон Тешена — человека грузного, немолодого, с исполосованным старыми шрамами лицом и репутацией командира, который своих людей берёт, но чужих не жалел ни в бою, ни в разговоре. Фон Тешен принял Гавела с нескрываемым скепсисом, оглядев юношу с ног до головы взглядом человека, повидавшего на своём веку немало безусых храбрецов, не доживавших и до первой стычки.

— Сын Конрада фон Вальдека, — произнёс он, разглядывая герб на щите юноши — крест, подкову, синее поле. — Наслышан о твоём отце. Хороший был крестоносец, говорят. Посмотрим, каков сын.

— Я готов служить, мой господин, — коротко ответил Гавел.

— Все так говорят, — фон Тешен усмехнулся без тепла. — Готовность проверяется не языком.

Первую неделю сбора Гавела определили в конный дозор — самую скучную и одновременно самую полезную службу для новичка: объезжать окрестности лагеря, проверять дороги, докладывать о любом чужом отряде, замеченном на горизонте. Именно там, в седле, среди холодных туманных рассветов над годковскими полями, он впервые по-настоящему сблизился с людьми, с которыми предстояло делить котёл и попону следующий год, — с угрюмым лучником Индржихом, потерявшим два пальца на левой руке ещё в прошлой войне и оттого стрелявшим, по общему мнению, только лучше; с молодым оруженосцем Богуславом, ровесником Гавела, весёлым не по годам и вечно голодным; со старым сержантом Радеком, ветераном трёх кампаний, который единственный из всего десятка не удивился, увидев, как быстро юноша осваивается в седле и с оружием.

— Не первый раз вижу такое, — сказал как-то Радек, наблюдая, как Гавел без видимого усилия умирят норовистого коня. — Кровь иногда сама знает своё дело, покуда голова ещё учится.

Первый снег войны

Военные кампании той эпохи редко напоминали стремительные повести менестрелей: месяцы уходили на марши, стояние лагерем, мелкие стычки за переправы и фуражные обозы, и лишь изредка — на одно генеральное сражение, решавшее судьбу целой кампании. Голод, болезни и холод убивали в таких походах не меньше, а порой и больше людей, чем неприятельский клинок.

Война встретила Гавела без прикрас: грязь бесконечных осенних дорог, голод, когда обоз с провиантом отставал на день-другой пути, бессонные ночные марши, поля, на которых спустя сражение оставалось больше воронья, чем травы. Войско фон Тешена двинулось на север уже глубокой осенью, когда дожди сменились первым мокрым снегом, а дороги превратились в чёрное месиво, засасывающее колёса телег по самую ступицу. Люди шли, обмотав ноги тряпьем поверх сапог, кутаясь в плащи, которые не успевали просохнуть от одного привала до другого; лошади худели на глазах, несмотря на реквизируемый у окрестных деревень овёс.

Первое настоящее столкновение случилось у брода через безымянную речку, где вражеский отряд попытался перехватить обоз с провиантом. Схватка была короткой, злой и бестолковой — не тем величественным сражением, о котором Конрад когда-то рассказывал сыну у очага, а мешаниной криков, брызг ледяной воды и ударов, наносимых почти вслепую в сгущающихся сумерках. Гавел убил в тот день первого человека — не в честном поединке, а коротким, почти не глядя нанесённым ударом снизу, когда чужой всадник, оскальзываясь на мокрых камнях брода, попытался достать его копьём. Тело противника унесло течением ещё до того, как бой закончился; Гавел так и не увидел его лица.

Ночью, сидя у костра рядом с Богуславом, который безуспешно пытался высушить над огнём одну и ту же мокрую портянку, Гавел долго молчал, глядя на языки пламени.

— Тяжело? — спросил Богуслав, не глядя на него.

— Не знаю, — честно ответил Гавел. — Ждал, что будет тяжелее.

— Значит, повезло тебе, — Богуслав пожал плечами с той лёгкостью, с какой умеют говорить о смерти только те, кто ещё сам не встретил её по-настоящему близко. — А может, ещё догонит. У всех по-разному бывает.

Многие из тех, кто выехал из дома рядом с ним, не пережили и первого месяца — кто пал от вражеского клинка, кто сгорел в лихорадке от простой раны, не находившей вовремя лекарской помощи. Один из двух дружинников, что выехали с ним из Вальдека, старик по прозвищу Кулхавый Ярош, захромавший ещё в юности после падения с коня, умер от гнойной горячки спустя три недели после брода — рана в бедро, полученная в той же стычке, показалась поначалу пустяковой, а после почернела и раздулась так, что лекарь только качал головой. Гавел сидел с ним в его последнюю ночь, слушая бред умирающего о доме, о жене, которую тот похоронил ещё десять лет назад, но которую в горячке звал, будто она была рядом.

Мост у Оленьего брода

Тогда же, в те первые, ещё не остывшие после брода недели войны, случилось то, о чём Гавел впоследствии не рассказывал никому, кроме, быть может, самого себя в бессонные ночи, — то, что научило его бояться за чужие жизни куда сильнее, чем за собственную.

Их десятку — Гавел, Богуслав, лучник Индржих и ещё семеро таких же необстрелянных парней — приказано было удерживать узкий бревенчатый мост через безымянный приток, пока основное войско не пройдёт мимо к более важной переправе. Задача была скучной и без-опасной: сидеть в укрытии за наспех сваленным буреломом, пропустить чужой разъезд, если тот появится, и ни в коем случае не ввязываться в драку без крайней нужды, — так наказывал десятник, немолодой воин по имени Држимал, прежде чем отъехать проверить соседний пост. Гавел остался за старшего.

Когда на другом берегу показался вражеский дозор — всего шестеро всадников, усталых, беспечных, явно не ожидавших встретить здесь никого, — Гавел ощутил уже знакомое ему нетерпение, тот самый холодный голод в груди, что впервые проснулся в нём у брода несколько недель назад. Шестеро против десятерых, да ещё врасплох, с моста, — ему показалось, что перевес слишком очевиден, чтобы им не воспользоваться. Он не подумал о том, что для него самого перевес значил одно, а для девяти паренёков рядом с ним, у которых не было ни его силы, ни его везения, — совсем другое.

— Ударим сейчас, покуда не разглядели нас, — сказал он, и в голосе его прозвучала та же уверенность, с какой всего неделю назад он в одиночку встретил всадника в ледяной воде брода. — Возьмём их прежде, чем они успеют поднять тревогу.

Индржих, самый старший в их десятке после Држимала, засомневался было — приказ ясно говорил не ввязываться, — но Гавел, ещё не научившийся тогда сомневаться в собственной правоте, настоял, и его настойчивость, помноженная на свежую славу героя брода, оказалась достаточно убедительной. Десяток перешёл мост раньше, чем дозор успел их заметить.

Стычка обернулась совсем не так, как виделась Гавелу издалека. Шестеро оказались не беспечными путниками, а передовым охранением куда большего отряда, стоявшего лагерем в четверти мили дальше по дороге, и на шум быстро подоспело подкрепление — вдвое, а после и втрое превосходящее числом маленький десяток, оторвавшийся от своего моста и своего прикрытия. Гавел дрался так, как всегда дрался с той ночи у брода, — не чувствуя усталости там, где чувствовать её полагалось бы любому человеку, — и вышел из этой рубки с парой неглубоких порезов, которые затянулись уже к вечеру. Не всем рядом с ним повезло так же.

Гинек — младший из десятка, безусый мальчишка, всего третью неделю носивший меч и накануне вечером доверчиво расспрашивавший Гавела, каково это, побывать в настоящем бою, — упал первым, не успев даже поднять щит как следует. Ещё двое остались лежать на истоптанном берегу, когда уцелевшие наконец сумели отступить обратно за мост, — оба немолдые крестьянские парни, чьих имён Гавел, к своему вечному стыду, так и не узнал как следует за те немногие недели, что они провели в одном десятке.

Држимал, вернувшийся на пост к вечеру, застал не тихую заставу, а три свежие могилы и десяток, из которого недосчитались троих. Он не кричал — только долго смотрел на Гавела, прежде чем сказать одну-единственную фразу:

— Ты жив, потому что тебя, видно, сам чёрт бережёт, парень. А их берёт только приказ, которого ты не послушал.

Гавел не нашёл, что ответить. Он стоял над свежей землёй, укрывшей Гинека, и впервые по-настоящему понял то, чего не понимал прежде, невзирая на всю выучку Йошта и все наставления отца: сила, что жила в его собственном теле, была мерой только для него одного, а не для тех, кто шёл с ним рядом плечом к плечу. Он мог позволить себе риск, за который

другие расплачивались жизнью, — и до этого дня даже не задумывался, что перевес, очевидный для него, вовсе не обязан быть очевидным для мира вокруг.

Той же ночью, впервые за поход, он не сомкнул глаз не от боли и не от голода в груди, а от тяжести куда более простой и куда более человеческой. Богуслав, единственный, кто решился заговорить с ним у погасающего костра, не стал ни утешать, ни обвинять.

— Держимал прав только наполовину, — сказал он тихо. — Не чёрт тебя бережёт. Но и не только приказ бережёт нас, прочих. Ты теперь знаешь то, чего не знал вчера. Многие так и умирают, не успев этого узнать.

С того дня Гавел не позволял себе больше ни разу спутать собственную неуязвимость с неуязвимостью тех, кто сражался рядом. Он выучил этот урок раз и навсегда — так крепко, что годы спустя, командуя уже не десятком, а целыми отрядами, первым делом взвешивал не то, что мог выдержать он сам, а то, что способны выдержать обычные люди под его началом, и ни разу больше не повёл в наступление тех, кому следовало обороняться.

Гавел выжил — не чудом, а холодным расчётом, которому его когда-то учил отец, а по-настоящему выучил мост у Оленьего брода: не геройствовать там, где можно перехитрить, беречь силы там, где хватит одного верного удара, и никогда больше не мерить чужую жизнь собственной мерой. К этому расчёту прибавлялось нечто, чего расчётом объяснить было нельзя: он уставал позже других, раны на нём затягивались быстрее, чем полагалось природой, а в разгар самой безнадёжной резни в груди у него просыпалось нечто похожее не на страх, а на голод — холодную, звериную ясность, в которой рука сама находила слабое место в чужой броне.

Он списывал это на выучку и молодость. Ему было невдомёк, что кровь, доставшаяся от отца, наконец начала просыпаться в нём — медленно, будто зверь, поднимающийся из долгой зимней спячки.

К середине зимы войско фон Тешена встало на зимние квартиры в разорённом пограничном городке, чьё название Гавел так толком и не запомнил, — слишком похожи были друг на друга эти городки, обнесённые полуразрушенным частоколом, с обгорелыми крышами и жителями, глядящими на чужое войско тем особым взглядом, в котором страх смешан с уже привычной покорностью. Здесь, впервые за несколько месяцев, у него появилось время не только сражаться и выживать, но и думать.

Он писал отцу дважды за зиму — короткие письма, надиктованные полковому писцу за пару монет, потому что собственное умение выводить буквы оставалось нетвёрдым, а руки после долгого дня с мечом слушались пера плохо. Ответа не пришло ни разу. Гавел решил, что письма затерялись в дороге — почта в военное время была делом ненадёжным, — и не встревожился так, как встревожился бы, знай он правду.

Весной, когда снег в предгорьях начал сходить, а дороги вновь раскисли, война возобновилась в полную силу — марши, стычки за переправы, осада небольшой пограничной крепости, растянувшаяся на два месяца голодного, вшивого сидения в осадном лагере. Гавел участвовал в трёх штурмах той крепости, и в последнем из них, когда стены наконец пали, впервые командовал не собой одним, а десятком таких же, как он, молодых воинов, — фон Тешен, заметив в юноше не только силу, но и хладнокровие, начал доверять ему больше, чем доверял поначалу.

— Ты не безумец, — сказал он однажды Гавелу после боя, вытирая клинок о полу плаща убитого врага. — Не мальчишка, что рвётся вперёд ради песни менестреля. Это редкость. Из тебя, пожалуй, выйдет толк.

Так прошёл первый год войны — год, за который Гавел из безусого юноши, впервые покинувшего родной замок, превратился в воина, чьё имя начали узнавать за пределами собственного десятка, хотя настоящая слава, а вместе с ней и настоящая опасность, были ещё впереди.

Ночной гость

Первое покушение случилось спустя год, в походном лагере на границе, в ночь после недолгого затишья. Лагерь тогда стоял на берегу мелкой каменистой реки, среди редких сосен, и палатки — грубые полотняные шатры, пропахшие дымом и потом, — теснились рядами вдоль наспех вырытого рва.

Гавел проснулся не от звука, а от тени — от лёгкого сдвига воздуха над лицом, который его чуткое, не по-людски острое чутьё уловило за миг до удара. Он откатился в сторону, и кинжал, направленный ему в горло, вспорол лишь край подстилки, набитой сухой травой.

Схватка была короткой и грязной — в темноте палатки, среди спутанных ремней и опрокинутой походной утвари: жестяной кружки, деревянной миски, седельной сумки. Гавел одолел нападавшего голыми руками, сломав ему запястье и прижав к земле коленом, прежде чем на шум сбежались товарищи с факелами.

Наёмника — человека жилистого, одетого в неприметное тёмное платье без каких-либо знаков различия, — допрашивали до рассвета. Он был крепок и молчалив, но не настолько, чтобы выдержать всё, что умели делать полевые дознаватели с человеком, чьё покушение стоило бы жизни знатному рыцарю. Под утро он назвал имя посредника — торговца, известного тем, что вёл дела с церковными землевладельцами, — а затем, прежде чем успел сказать больше, странно обмяк и умер, не приходя в сознание, будто внутри него что-то оборвалось само.

Гавел долго стоял над телом, не понимая, что тревожит его сильнее — сам факт покушения или та лёгкость, с какой чья-то воля дотянулась даже до допросной ямы, чтобы заткнуть наёмнику рот.

Он не успел разгадать эту загадку. Три дня спустя пришло письмо, изменившее всё.

Дом без хозяина

Гонец нашёл его после короткого перемирия — усталый, покрытый дорожной пылью человек в потрёпанном плаще с гербом местного судьи. Известие было сухим, будто выжженным: рыцарь Конрад фон Вальдек скончался, всё имущество его — земли, замок, скот, дворня — по составленной им дарственной грамоте переходит во владение церкви.

Первым, что почувствовал Гавел, услышав эти слова, была не скорбь — оглушение, тишина внутри, словно мир вокруг него на миг перестал издавать звуки. Он перечитал грамоту трижды, водя пальцем по строчкам, точно надеялся, что буквы сложатся во что-то иное при повторном чтении. Гонец, не дождавшись ни вопроса, ни слова, неловко потоптался рядом и, откашлявшись, добавил, что примет ответ, если таковой будет, — но Гавел не ответил ничего. Он смотрел на печать судьи внизу листа так, словно эта восковая клякса была единственным, что осталось от отца.

Скорбь пришла позже, в седле, на второй час пути домой, — пришла внезапно и целиком, обрушившись на него так, что он едва не выпустил поводья. Он вспомнил не последние годы отца, потухшего, ушедшего в себя, а прежние — тёплую ладонь на плече после первого удачного удара мечом, запах дыма и вина от отцовского плаща в детстве, голос, читающий вслух историю о герое, что бился со змеем ради спасения девы. Вспомнил, как мальчишкой боялся только одного: что отец не придёт пожелать спокойной ночи. Теперь отец не придёт уже никогда, и от этой простой, окончательной мысли у Гавела на миг перехватило дыхание, как от удара под рёбра.

Гавел выпросил у командира краткий отпуск и мчался домой три дня без остановок, меняя лошадей на каждом постоялом дворе, не позволяя себе спать дольше, чем требовалось седлу и всаднику, чтобы не свалиться замертво. Дорога петляла среди уже пожелтевших лесов, мимо деревень, где при виде спешащего всадника в дорожном плаще испуганно жались к плетням дети, — и с каждой пройденной милей тяжёлое, необъяснимое предчувствие в груди Гавела становилось всё гуще.

Замок он увидел издалека — и не узнал его. Ворота стояли настежь, чего не бывало на его памяти даже в ясный полдень; амбары зияли пустотой, будто их выпотрошили изнутри; во дворе, там, где прежде звенели мечи учебного боя, бродили чужие люди в тёмных церковных одеждах, деловито описывая уцелевшее добро на восковых табличках для дальнейшего вывоза.

Их было не меньше десятка — писцы и служки епископской канцелярии в неприметных рясах, и во главе их, посреди двора, на резном табурете, принесённом, по всей видимости, из самого господского зала, восседал человек, которого Гавел прежде не видел. Немолодой, полный, с гладко выбритым лицом и перстнем на пухлой руке, он представился позже как брат Гунтер, эконо́м епархии, присланный «упорядочить и принять во владение земли, отписанные Святой матери-церкви покойным рыцарем Конрадом фон Вальдеком по доброй воле и во спасение души его». Рядом с ним стоял писец помоложе, зачитывающий вслух список: «шит родовой, потемневший, один; кольчуга старая, чиненая, одна; мечей два, из коих один тупой негодный; сундук с бельём, сундук пустой...» — голос его звучал ровно, скучающе, будто он читал не последнее достояние чужой жизни, а обычный базарный реестр.

Гавел спешился у самых ворот и медленно пошёл через двор, и первое, что он почувствовал при виде этой картины, была не ярость ещё — оцепенение, схожее с тем, что охватило его при чтении письма судьбы. Но оцепенение продержалось недолго.

— Что здесь происходит? — голос его прозвучал тише, чем ему самому хотелось бы, но в наступившей тишине разнёсся по всему двору.

Брат Гунтер поднял на него взгляд без всякого удивления — будто ждал этого появления и заранее подготовился к нему.

— А, — произнёс он с той особой, вежливой скукой, с какой сытые люди говорят с теми, чья горе их не касается, — стало быть, вы и есть молодой Вальдек. Мы описываем имущество, отошедшее церкви по законной дарственной грамоте вашего покойного отца. Всё делается по правилам, юноша, можете не сомневаться.

— Это дом моего отца, — Гавел не сдвинулся с места, но в голосе его уже прорезался металл. — Мой дом.

— Был домом вашего отца, — мягко поправил его один из писцов, не поднимая головы от таблички. — Ныне же, согласно грамоте, скреплённой подписью и печатью самого рыцаря Конрада при свидетелях, — собственность епархии.

— Покажите мне эту грамоту.

Брат Гунтер вздохнул с видом человека, для которого подобные сцены давно стали утомительной, но неизбежной частью работы, и махнул рукой писцу помоложе. Тот протянул свиток — Гавел развернул его дрожащими от сдерживаемой ярости пальцами и увидел подпись отца, неровную, спешную, совсем не похожую на твёрдую руку, которой Конрад некогда подписывал хозяйственные счета.

— Это не его рука, — тихо сказал Гавел, хотя в глубине души уже понимал, что ошибается: почерк был искажён не подделкой, а болезнью, дрожью, охватившей человека в последние, самые страшные его дни.

— Свидетели подтвердят подлинность подписи в любом церковном суде, юноша, — брат Гунтер поднялся с табурета, отряхивая полы рясы. — Не советовал бы вам оспаривать волю покойного, тем более что грамота составлена во спасение его души — деяние богоугодное и весьма похвальное. Многие сыновья на вашем месте были бы благодарны, что отец озаботился загробной участью, а не оставил всё в мирских дрязгах.

— Богоугодное, — повторил Гавел, и что-то в его голосе заставило ближайших писцов на миг оторваться от табличек. — Вы называете богоугодным то, что вы делаете сейчас — описываете последнюю рубаху умершего человека, покуда его сын ещё не успел даже узнать, где похоронено тело?

При этих словах в дворе что-то неуловимо изменилось — писцы переглянулись, кто-то отвёл взгляд, а брат Гунтер впервые за весь разговор ответил не сразу, будто подбирая слова осторожнее прежнего.

— О погребении вам лучше расспросить приходского священника, — произнёс он наконец, и в голосе его прозвучала нотка, которую Гавел тогда ещё не сумел распознать до конца, — что-то среднее между неловкостью и предупреждением.

Гавел шагнул вперёд, и рука его сама легла на рукоять меча — не для удара ещё, но достаточно явно, чтобы двое вооружённых слуг, сопровождавших церковную комиссию, шевельнулись, перехватывая свои алебарды поудобнее.

— Молодой господин, — раздался за спиной знакомый голос, — не здесь. Не так.

Правда старосты

Старый староста, Мирек — человек лет шестидесяти, с изрезанным морщинами лицом и заскорузлыми от полевой работы руками, — единственный, кто узнал Гавела и не отвёл при этом взгляда. Он отвёл юношу в сторону, подальше от чужих ушей, за угол опустевшей конюшни, крепко, почти до боли, сжимая его локоть, покуда не увёл достаточно далеко от церковных людей.

— Не давай им повода, — прошептал он торопливо. — Не здесь. Здесь у них закон и грамота, а у тебя пока только меч и гнев, а этого мало против церкви, поверь старику.

— Мирек, — Гавел с трудом заставил себя понизить голос. — Где мой отец? Где его похоронили?

Мирек долго молчал, комкая в руках старую заячью шапку, и это молчание сказало Гавелу больше, чем любые слова.

— Отец твой, — начал он наконец, с трудом подбирая слова, — в последний месяц совсем повредился рассудком. Каждый день ходил к отцу Освальду, а после стал приходить и на площадь. Кричал, что был искушён самим сатаной ещё в Святой земле, что нечистый вошёл в него через храм какой-то языческий и с тех пор не отпускает. А после — прости меня, господин, — сказал, что и на тебе та же метка. Что дьявол отметил и тебя тоже, через кровь его.

Гавел стоял неподвижно, будто из него разом выкачали весь воздух. Он слышал слова старосты, но они доходили до него словно сквозь толщу воды — далёкие, приглушённые, лишённые той остроты, которую должны были бы нести.

— Для спасения твоей души, так он сказал прилюдно, он отдаёт всё, чем владеет, церкви. При свидетелях подписал грамоту. А после...

Мирек не договорил. Ему не нужно было договаривать — Гавел уже видел это по его лицу.

— Скажи, — выдавил он, и голос его прозвучал чужим, будто говорил кто-то другой его устами. — Скажи всё, Мирек. Я должен знать.

— Он проткнул себе грудь мечом. При всех. Тело сняли с площади ещё до полудня.

Мирек перекрестился, прежде чем закончить, словно одни лишь предстоящие слова могли навлечь беду и на него самого.

— Хоронить по-христиански отец Освальд запретил — самоубийца, сказал, руки дьявола коснулись, нельзя такого класть в освящённую землю. Тело отвезли за городскую стену, за старый ров, где хоронят висельников да некрещёных младенцев. Без отпевания. Без креста. Без камня на память.

В этот миг что-то в груди Гавела произошло — не как удар, а как обвал, медленный и необратимый, будто под ногами разошлась земля, на которой он стоял всю жизнь. Он вдруг

с пугающей ясностью понял, что не сможет прийти на могилу отца, потому что могилы, в привычном смысле, не существует; не сможет заказать заупокойную службу, потому что ни один священник в округе не согласится молиться за душу, объявленную проклятой; не сможет даже поставить простой деревянный крест, потому что это место — безымянный ров за стеной — не примет никакого знака, кроме забвения.

Он вспомнил все годы, что отец простоял на коленях в маленьком деревянном костёле, шевеля губами в беззвучной исповеди, которую был не в силах закончить, — и понял теперь, о чём была эта исповедь, понял тяжесть, которую отец нёс в одиночку два десятка лет, и то, что эта тяжесть в конце концов раздавила его, а церковь, вместо утешения, ответила ему отказом даже в последнем пристанище.

— Земли теперь церковные, господин, — продолжал Мирек тише прежнего. — А кто пробовал перечить — тех объявили еретиками. Двоих сожгли на костре ещё до того, как высохла кровь твоего отца. Кузнеца Йошта чуть не постигла та же участь — он один осмелился прилюдно назвать грамоту вымогательством, но за него вступился весь гарнизон, и церковники не решились связываться с полусотней вооружённых людей разом. Отделался тем, что его выгнали за ворота без единого гроша.

Обвинение в ереси в те столетия было оружием на удивление гибким: под него подводили не только явное вольнодумство, но порой и простое несогласие с волей влиятельного церковного землевладельца. Костёр для осуждённого еретика полагался по каноническому праву как крайняя мера, передаваемая, впрочем, светским властям для исполнения, — тонкость, которая на деле мало утешала тех, кто на этом костре погибал.

Гавел долго молчал, глядя на пустые окна замка, где когда-то отец рассказывал ему о крестовых походах и проверял, заперты ли ставни от зимнего ветра. Он не плакал — что-то внутри него, тёплое и человеческое, будто заledenело за эти минуты навсегда, уступив место другому, куда более твёрдому и холодному. Ему казалось, что он стоит на краю пропасти, в которую можно упасть, — упасть в отчаяние, в безумие, в то самое небытие, куда церковь уже отправила его отца, отказав ему даже в праве на память, — и единственное, что удерживало его на краю, была не вера и не надежда, а тупое, звериное упрямство, о котором когда-то говорил Йошт: сила, идущая не из выучки, а из нутра.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.